

содержание

книга первая

Как закрывался занавес

«Сколько здесь переживаний, выездов и приездов»	13
Палата № 15	15
Август восемьдесят восьмого	19
Точнее арифметики	21
Для архива	22
Без ложной скромности	22
«Ах, голова кружится»	24
На волне	25
Зайчики и гармошка	26
Ударение — дело тонкое	27
Антракт	28
«На что вы надеетесь?»	30
До спектакля	33
Связь времён	53
Как бы я сейчас ставил про это?	54
Пока лиса не съела	55
«Вы ещё тут?»	56
Такой театр	56
Было	58
«Ребята! А вы дикари...»	66
Так я и запишу	88
Наша маленькая война	108
Бессонница	121
«Каждый должен жить в своей деревне»	123

Мне почему-то думается...	127
Чуть-чуть о том, почему его не послали подальше	132
Пасечник	135
Петербургец из Харькова	137
От ясности к тайне	140
Мария Осиповна	141
Голда Меир из ВТО	145
С лабораторией	152
Благодарю	156
Он смеётся над всеми	156
Отгадыватель снов	157
Чёртики — изюминки — перчик — соль	162
Последние	166
«Дай мне неспешно и нелживо...»	168
Что остаётся	177
Бум! — Бум!	181
Рокировка	182
В новой позиции	182
Сцена любит крайности	187
О дочери кузнеца и «Гамлете»	189
«Будут у нас свои»	193
Распределение ролей	196
Пансо — эстонский Дон Кихот	198
«Ты Шоу? Да. Но ты ведь и Гаев?!»	202
Как на Васиных именины	203
Правильная неправильность	206
Вот так	210
Чем дальше — тем лучше	211
Первая репетиция	213
Разгерметизация	217
Можно ли было спасти театр?	220
Молибден и Янис, который оставил позади себя	222
Третий выбор	223
Потрясение	236
Единственный общий дефицит	243
Оглядываясь	245
С корабля на бал	248
После бала	249
Обиженные	250
Отступление об отступлениях	251
Как говорят военные	251
Сюжеты	252
Со стороны виднее	252
Море. Рассвет. Старик	253

Без ответа	254
Прогулка	254
Четвёртый этаж	262
Студийность	263
Эх, дороги... ..	263
Рояль на подесте	264
Похожий на самого себя	266
«Хорошая пьеса, но не ставить же?!»	268
«Неужели в самом деле все сгорели карусели?»	273
«Глупо, Паша, и старо»	276
Настройка	278
Вопросы	279
На сцене	282
«Ну кто так думает?»	283
Сделайте мне неудобно!	284
Жертва любви	286
Объектив	287
В мечтах	289
Птицы подземелья	290
Из программки к спектаклю	294
Пульт БВ	295
А если сразу — to be or not to be?	297
Быть	297
Навсегда	303
Выписка	304
Без смеха	306
Тут и там	307
Память	308
О наших и ваших миражах	313
А счастье было так возможно	317
Со звоном за спиной	317
Маэстро	319
№ К-117	328
«Кофе не желаете?»	329
Наедине со всеми	330
Без обратного адреса	332
Бац!.. ..	332
Рука Лиги Видениеце	334
Един во всех лицах	336
На окраине и только днём	337
С комсомольским приветом!	338
Всё-таки я сыграл эту роль	338
Цифры, цифры, цифры... ..	338
Ну, вот	344
???	350

«Але не стреляють?»	351
Из люка	352
Последний раз	353
Я уехал	354

книга вторая

Другой театр

Пожарный занавес	363
Никогда не говори «никогда»	368
«Две слезинки» и «Да, он сидел»	374
Великая работа — «Чайка»	378
Кто поставил «Чайку»?	385
Блеск росы	386
Вместо стихов о «Чайке»	389
Истории и История	390
Приплыл	392
Всё-таки он	399
«Не увидимся ли?»	402
Увиделись	404
В новой стране в новой старой стране в старой новой стране	409
Эх — эй — ох — ой — ай	412
О старушках, юном Гамлете и редкой чайке	413
Каляки-маляки	417
Люди и тараканы	418
Оглядываясь	422
Остров Садо	426
«Что с тобой?»	428
Небожители	430
Так случилось	431
Колечко, колечко... ..	433
Наташе Крымовой	436
Щекоч. Два дня из многих	446
Встреча в Брюсселе	454
Лунгин-Нусинов и Лиля	464
Такое не придумашь	478
Пауза	485
Житуха	487

Там, где стреляли	494
По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там.....	510
От «Чайки» к «Дяде Ване»	516
Профессия XX века	518
Опыты навсегда	524
Комары и доктор Астров	526
Таких людей надо любить.....	531
Тема для разговора	536
Это было недавно, это было давно	537
Кое-что о радости	544
Таинство	546
Дядя Павлуша	547
Вдвоём	548
«Ответь, Александровск, и Харьков, ответь»	550
«Отцы и дети»	551
Два приезда	553
Un cappuccino, per favore!	557
На премьерe	558
Где ты?	558
Жест	561
Обратно покойника везут!	562
«Значение слова „никогда” понимаешь?»	562
Никогда	563
Мальчишка	563
Три сестры.....	564
...и брат	565
Другой памятник	567
О том, кто сидел не на крыльце	568
Номер	578
Четвёртый угол	580
Главный случай	587
По местам	588
Лихие — не лихие	590
Роман с Горьким	612
Несвоевременное отступление	613
Всё не так, всё не так, ребята	618
Бог троицу любит. «Три сестры».....	628
Связь времён	632
Просветы	641
Сорок лет спустя	643
Что ещё придётся пережить этим девочкам.....	643
Ещё о знамени	644
Прошёл мимо и всех задел	646

Сомнительный абитуриент	647
Вновь о Кнебель	648
«Всё стало вокруг голубым и зелёным»	661
Горком комсомола	664
На мосту	665
В ожидании чая	666
Меж двух вечностей	667
Театр-кентавр	668
Одна задача и много ответов	671
Кукушка или вечный гость	674
Ульянов и Ацмон	680
«Не всем дано...»	688
Давид	697
«Не ломитесь в открытую дверь»	709
Почему	711
Пазлы	712
Злата Прага	730
Уборщики цветов	741
Что было / будет с садом?	742
Театр идёт!	759
Дополнительные уроки	767
Пространство Чехова	770
Инь и Ян	777
Ушёл Дрейден	794
Обрыв	808
О калейдоскопе и радикулите	812
О единицах и толпе	815
Из вчера в завтра с остановками	817
Чувства по ходу	825
Заверните за угол	826
Отдельный	827
Огни большого города	828
На Театральной площади	829
В Стасике и Большом	831
«Ага... химик! Попался!»	846
«Давай!»	863
Мой последний «Сад»	883
«Чехов. Постскриптум»	904
Периволи	905

Сначала возникает замысел, потом следуешь ему — это заблуждение театральной педагогики времён моего ученичества. В качестве примера всегда Суриков: увидел ворон на снегу, и вот — «Боярыня Морозова». Как можно было следовать от одной картины к другой, никто не объяснял. И не объяснишь, чёрное на белом — лишь эмоциональный толчок, чтобы взять в руки кисть.

Замысел проявляется к концу работы. До этого бродит рядом, как привидение в классическом английском детективе. Скрип двери, половиц, близкое дыхание, но не стоит пытаться ловить. Обнаружится, когда пройдёшь через восторг от прикосновения к тайне, страх, отчаяние, неверие и веру.

Известны слова скульптора, что его работа — отсечение от глыбы мрамора всего лишнего. Когда-то они покорили эффектностью, теперь — точностью описания того, что за неимением других слов мы зовём творчеством.

Начинаешь ли первую репетицию, открываешь ли в компьютере новую папку под названием «Книга», — пульс такой же: учащается, замирает, скачет.

Вначале лишь предощущение, смутное, будоражащее чувство возможного направления движения. Главное — утром не перечитывать сделанное вечером, не оглядываясь идти дальше. Знаю, что главное, — не выходит. И вообще не лучше ли составить твёрдый план книги и соблюсти его. Приблизительно такой.

Эпиграф:

«Если дают линованную бумагу, пиши поперёк».

Рэй Брэдбери

Вступление. Связь будущего текста с написанным раньше.

Три части — это три места жизни: Харьков — Рига — Москва.

Развитие — от детства к театру, от театра — к людям.

К тем, кто был близко, около, по соседству, напротив. И против.

Кульминация — последний вечер рижского театра.

Дальше — страны, города, улицы, дома, сцены...

Заключение. Две режиссёрские жизни. Одна — тридцать лет (без месяца) с нашим рижским театром. Вторая — повсюду и сам по себе.

Такой план хорош, если бы не отпугивал линейностью.

Не выйдет следовать ему. Лучше довериться капризной памяти и понять, почему из своего запаса выдаёт то, что стал забывать (а иногда хотел забыть).

Сами собой, нарушая пространственные и временные установки, врываются незапланированные темы, голоса, лица. Их не вызвать усилием воли. Приходят без зова. Разгадывать тайну их возникновения — это занятие.

С годами открывается, что взаимозависимость между поступками, словами, прочитанной книгой, хорошим знакомым и мимолётным разговором с прохожим, между всем виденным и упущенным — это система арок. Начало каждой из них можно обнаружить в детстве (прологе), а завершение — в эпилоге.

Там, в детстве, я радовался шарикам из разбитого термометра: подтолкни их слегка, и они, выделявая причудливые зигзаги, сливаются друг с другом.

Самое важное, чего ждёшь от спектакля, а сейчас от книги, — откроются ли скрытые связи между случайными вещами, эпизодами, во многом сделавшими персонажа пьесы (или тебя) таким, каков он (или ты) есть.

книга первая

как
закрывался
занавес

Медленно, подробно, без суеты, задержнув шторы на окнах репетиционного зала, — так я всегда мечтал работать. И так надо работать. Но в дни, когда время стремительно убыстряет бег, это рискованно. Может случиться, оно опрокинет первоначальный замысел и заставит тебя совсем по-новому взглянуть на настоящее, которое быстро становится прошлым.

Что же тогда? Отказаться от старого замысла или, если он не отпускает, вступить с ним в какие-то новые отношения. Об этом я думал, пробиваясь к этой книге. Она задумывалась как рассказ о жизни рижского Молодёжного театра и моей с ним. Называлась — «Антракт». Оказалось, более наивное название трудно было придумать. 26 июня 1992 года театр был закрыт. Ликвидирован. Страницы пылились на столе. Я перелистывал их, откладывал в сторону, снова листал, не ведая, что делать. Годы оцепенения завершились неожиданным наблюдением: давний текст по-своему притягателен — как свидетельство жизни моей, театра и его друзей. И я решил рискнуть и рассказать о том, как уничтожали театр.

Теперь под одной обложкой и жизнь, и преступление.

Сначала я подумал, что хорошо бы набрать книгу разными шрифтами. Про гибель театра — одним, а про живое — другим. Эта придумка помогала в работе. Я представлял, что тот, кому обрыдли гримасы наших дней, кто устал от их многоликости, не будет сосредоточиваться на истории гибели театра. Так же быстро сумеет пролистать не интересующие его страницы





гражданин, для которого новые сюжеты (новые ли?) так остры, что заслонили интерес к сцене.

Упрёки в авторском кокетстве не страшили. Убеждён — наш опыт даёт возможность понять и тех и других. Однако от этой нехитрой идеи пришлось отказаться. Слишком эффектно и схематично получалось. Ведь в действительности всё переплетено так слитно, так нерасторжимо, что, будь возможность отделить одно от другого, не стоило бы возвращаться к прошлому, да и настоящее стало бы понятным. И даже будущее — ясным.

Поэтому надеюсь, что найдутся такие добровольцы, которые, переключаясь с одного на другое, вместе со мной удивятся непредсказуемости жизни театра и театра жизни.

На предыдущем развороте: Мы с художником Андрисом Фрейбергом сначала рассадили актёров в костюмах из разных спектаклей, а потом сели на свободные места. По какому поводу всё это — не помню, но вот — фото пригодились.

«Сколько здесь переживаний, выездов и приездов»

Дни, что выпали из жизни, не давали покоя. Навязчивое желание восстановить их заставляло обращаться с расспросами к соседям по палате, ко всем, кто видел меня таким, каким себя не знаю. Кажалось, минула вечность с тех пор, как провалился в темноту. На самом деле — часов сто. Заранее расписанные, они остались в записной книжке напоминанием о моей самонадеянности.

Врачи, видимо, не ждали, что я скоро вернусь оттуда. Иначе бы не оставили без присмотра. Помню — выбрался из палаты и плавно, не испытав ни страха, ни боли, упал. Прислонился к стене и на вопрос о том, почему сижу на полу, ответил: «Мне здесь хорошо».

Несколько дней назад вновь увидел Ригу. Знакомый перрон не вызвал привычного ощущения, сопровождающего возвращению домой. Гость!.. Приехал показать тем, кто три десятилетия были моими первыми зрителями, свой московский спектакль. Потом, уже в больнице, обнаружил в газете своё вокзальное фото и строчки под ним: «С каким чувством вы ступаете на эту землю?» — «Да ни с каким, сонный просто. Мало спал последнее время».

А что отвечать? В сутолоке, среди торчащих микрофонов, исповедоваться? Признаться, что иногда закрываю глаза и брожу по театру, заглядывая в каждую гримёрную? Объясняться в любви к своим рижским актёрам? Сокрушаться об их доле? Походя говорить о вине перед ними? Обличать тех, кто уничтожил театр?

Хотелось поскорее уйти, но Юлия Борисова рассказывала репортёрам, как однажды после спектакля рижане несли её на руках

до гостиницы. Она не случайно нарушила соблюдаемый ею обет на интервью. Ещё в Москве, узнав о предстоящей поездке, Юлия Константиновна заговорила о её важности, о миссии (не больше и не меньше!), о том, что она обязана хорошо сыграть «Милый лжец», чтобы кому-то что-то доказать. Не стал её разубеждать. Пусть доказывает, если хочет. Я не хочу. Борисова говорила обо мне, и уместно было отойти в сторону.

Очертания вокзальной башни расплывались во влажном тумане. Её будто совсем не было, как в то августовское утро шестьдесят второго года, когда впервые приехал сюда. Вокзал только строился и был похож на корабль без мачты. Я и не заметил, как она вознеслась. Так не замечаешь изменений всего, что рядом с тобой. Теперь я всматривался в часы на башне, словно никогда прежде их не видел.

На этом перроне мы с Сергеем Юрским провожали Наташу Тенякову с дочкой. Последние наставления, напутствия, шутки. Поезд тронулся, и Наташа крикнула: «Плюньте вслед». Серёжа знал об этой примете и точно выполнил наказ. Мы повернули назад. Навстречу трое: «Давайте познакомимся». Юрский назвал и протянул руку. Явно принял их за поклонников, что считали своей обязанностью приветствовать сошедшего с экрана Остапа Бендера. Но рука повисла в воздухе... «Ваши документы». Смахивало на шутку, и Юрский всё ещё не опускал руку... Она поникла тогда, когда один из «поклонников» предъявил своё удостоверение. Собрались зеваки, разгорался скандал. С опозданием до нас дошло, что эти типы приняли плевков вслед уходящему поезду на счёт высокого начальства, которое они провожали в столицу. Значит, ждали плевков в свою сторону?

Почему всплыл этот дурацкий эпизод, а не то, как бережно директор нашего театра Гудзук помогал сойти со ступенек вагона Марии Осиповне Кнебель? Она светилась от радости, предвкушая встречу с местами, куда отец привозил их с сестрой в начале века! Почему не вспомнилась весёлая ватага участников кнебелевской лаборатории, вылезавших из вагонов в полной готовности немедленно посвятить себя изучению метода «действенного анализа пьесы» и знакомству с пивными барами? Или капустаники, которыми наши артисты удивляли участников очередного фестиваля, едва продравших глаза после ночного переезда?

Перрон — старт и финиш. Отсюда уезжали на гастроли, сюда возвращались, здесь встречали гостей, со вздохом облегчения освобождались от кураторов, знакомились с будущими друзьями. Обнимались, смеялись, обменивались адресами, танцевали, плакали, целовались, клялись в верности, пили шампанское...

Арбузов молодецкливо запрыгивал в вагон, на ходу требуя восстановить сокращённую реплику. Эфрос подбадривающе улыбался. Ефремов решал — ехать всё-таки или нет. Окуджава сосредоточенно расхаживал вдоль вагона. Зорин сокрушался, что не купил свежих газет. Острил Паперный. В плывущих вагонных окнах Паустовский, Галич, Каверин, Самойлов, Тендряков, Розов, Лунгин с Нусиновым, Ким... Весёлые иностранцы и торжественные сановники... Тут мы в последний раз видели тех, кто уезжал за рубеж. Не забыть глаза первым решившегося на это в шестидесятых. Его пришёл провожать весь театр, что по тем временам было равно демонстрации. Он пристально всматривался в каждого, и взгляд выражал одно — запомнить.

Хотелось остановить эти кадры, но они наскакивали друг на друга, как в дурно склеенной плёнке. К тому же стало неловко. Вспомнил знакомую литовку, которая на вильнюсском вокзале проронила: «Сколько здесь переживаний, выездов и приездов». И ещё — как однажды мой случайный попутчик, оглядев с горы тайгу, вымолвил: «Я великий сын маленького коми народа». Он не на шутку напугал меня тогда.

Коми-литовские воспоминания подоспели вовремя. Перекинул сумку через плечо и вышел с Борисовой на привокзальную площадь. Реклама на домах, отсутствие очереди на стоянке такси, вымытые плиты мостовой, сиреневые гвоздики, красивая машина, в которую нас усадили, — всё напоминало времена, когда рижские улицы становились декорацией для советских фильмов из западной жизни. Разница в малом. Теперь это была на самом деле заграница.

Палата № 15

Где только не довелось жить после закрытия театра. Варшавяне поселили у пани Яны, балерины и любительницы кошек. Одно бостонское лето провёл рядом с Гарвардом, в доме, с хозяйкой

которого так и не познакомился, она путешествовала по Европе. Другое — в доме у перуанца. И его не удалось увидеть, уехал на лето на родину. Запомнились картинки на стенах и бассейн, за пользование которым пришлось выкладывать аж доллар в месяц. В Матвеевский дом кинематографистов меня привозили после репетиций у вахтанговцев. Там в столовой висел плакат: «Господа! Не уносите тарелки и ножи!» Первая московская зима — пятиэтажка на Шаболовке. Радужные соседи и много снега. В осеннем Питтсбурге листья на тротуаре убирали пылесосом, но кто жил рядом, осталось тайной. В танзанийской гостинице, выйдя на балкон... Нет, про гостиницы не стоит. Фонтанка! Там встретил Тимура Чхеидзе. Он раньше меня вынужден был покинуть город своей жизни, и общежитие товстоноговского театра на время стало нашим общим домом. Ещё — улица Макаренко. Когда выходил из казённой квартиры при театре Табакова, вдали виднелся латвийский флаг на посольстве, расположенном на той же улице. Потом — Поварская. Сюда меня забрал Анатолий Васильев, узнав, что дому на Макаренко предстоит капитальный ремонт. Он показал мне квартиру, в которой останавливались приезжающие к нему на стажировку иностранцы, и сказал: «Живи сколько хочешь». Затем перевёз к себе в Замоскворечье. Оттуда я отправился в Ригу, и вот... палата № 15.

На койке рядом Олег. Он недавно окончил школу, но второй раз здесь, угодил под машину. Парень заглядывается на сестричек и обеспокоен тем, как долго продлится запрет на спиртное. Он внимателен ко мне, особенно после того, как узнал, что «Онегин» написан в стихах. Это настолько поразило Олегово воображение, что он поделился новостью со своим другом, рязанским парнем в форме латвийского пограничника, который пришёл навестить его. Олег родился в Латвии, но стать её гражданином ему не светит. Несмотря на это и на шум в голове, он всем доволен. Жалеет только, что не успел пожить при коммунистах. Считает, при них можно было успешнее заниматься бизнесом.

У стены Соломон Аронович, заслуженный энергетик. Ему семьдесят шесть, и, к его удивлению, у него болят ноги. «Иду на блокаду», — произносит он с интонацией человека, спешащего на свидание. «Наш Соломон» — так называет его Олег, не представляя объёмности собственных слов, — владеет немецким,

французским, итальянским и латышским. Окончил рижскую русскую гимназию Ландау. С удовольствием вспоминает, как поразила наставницу рефератом о Пушкине, сделанном по изданной в СССР книге Щеглова. После завтрака он читает газеты и делится с нами новостями. Соломон Аронович жаждет общения, он одинок. К нему приходит женщина из еврейского общества, приносит еду и отчитывается о порядке в его квартире. Он с нею на «вы».

У окна замкнутый литовец Стас. В молодости он отсидел, драка по пьянке, а теперь красит суда в порту. Стас прилично зарабатывает и боится, что ему запретят работать на высоте. Для него это будет катастрофой, страшнее преследующей головной боли. А ещё он угрюм оттого, что всю жизнь прожил в Риге, жена — латышка, а в гражданстве ему отказали. Мрачные мысли отгоняет, налегая на сало. Судя по его запасам, Стас не надеется скоро повеселеть.

Мы живём, постепенно притираясь друг к другу. Легче всего со Стасом, рассказывается его опыт пребывания в замкнутом пространстве. Олег, как и я, нетерпелив, постоянно считает дни, никак не свыкнется. Ёрзает — то к нему забежит сестричка стрелнуть сигарету, то он бежит за спичками. Хуже со стариком. Едва светает, раздаётся гнусное дребезжание механической бритвы. Это Соломон Аронович готовится встретить новый день. Сидит на кровати и роется в выдавшем виды портфеле. Кожаное существо с монограммой, участник совещаний и летучек, теперь хранит всё необходимое для больницы. Разносится резкий запах одеколона. Потом долгие извинения Ароновича за то, что он всех разбудил. Эти извинения вконец разгоняют остатки сна, добытого таблетками.

Утро — время надежд: на творог за завтраком, на прогулку по двору, на хорошие вести, на скорую выписку. Жди! Вновь каша, гулять нельзя, в газетах некрологи об Иосифе Бродском, а врачи на обходе, как все здоровые люди, нагло врут: «Может быть, к концу недели выпишем...» Как ни стараешься следить за молоточком, который они крутят перед твоими глазами, вновь — «к концу недели...». К ночи надежды иссякают, будто за день прожил жизнь. Вечером (чаще всего вечером) по коридору бегут сёстры и просят всех зайти в палаты. Значит, кому-то уже всё равно — будет завтра творог или нет. Его, навсегда выписавшегося, на несколько

часов, пока совсем не остынет, закроют в душевой, потом перевезут туда, где очень холодно.

А у нас горячие дискуссии. Соломон Аронович перед сном упорно доказывает не то нам, не то себе, что раньше было не так плохо, как кажется. Многочисленная родня его погибла в лагерях, но он не может не отметить, что были и достижения. Какова энергия у нашего энергетика! Стремясь избежать короткого замыкания, пытаюсь не подключаться к спору. К чему? Вот знакомый директор провинциального театра недавно сокрушался о потере страной стратегического преимущества. У него в театре крыша протекает, и бачки в туалетах не работают, а ему тяжело, видите ли, из-за отсутствия стратегического преимущества. Лежу, отгородившись книгой. Соломон Аронович воспринимает моё молчание как потерю веры в выздоровление (в чём, возможно, и прав). Желая приободрить меня, показать, как говорят здесь, динамику выздоровления, он в который раз напоминает о моём появлении в палате.

«Казимир Казимирович», — представился я в ответ на Соломоново приветствие. Он удивился, поскольку был театралом и узнал меня. Ладно, но зачем сообщать об этом врачам, ведь я говорил только с ним. Теперь они пристают ко мне с расспросами, а я не в силах на них ответить.

«К. К.», «...мир ...мирович» не даёт покоя. Каким образом он вселился в меня? Откуда? О романе Ильфа и Петрова давно не думал, среди моих знакомых Казимиров нет, среди работников сцены, с которыми сталкивался на монтажке декораций, тоже. В антракте общался с послом Польши, но и он, как выяснилось, не Казимир. Что за чертовщина?

Олег спит, открыв рот. Даже засыпая, наушники плеера не снял. Вскрикивает во сне Стас. С кем-то продолжает спорить Соломон Аронович. Слов не разобрать, но звучит убедительно. Выключаю свет и пытаюсь понять, как я стал Казимиром. Мысли скачут, как короткие больничные сны. Пытаюсь уловить заключённый в них смысл, но и он ускользает, не успев оформиться во что-то внятное.

Стыдно своей зависимости от снов. А чего стыдиться? Когда пришёл в себя после нескольких дней забытья, первая мысль была, что жизнь — это зависимость. Ну вот — надо было пробежать марафон от мягкой детской кроватки до жёсткой больничной койки, чтобы осознать это. Сны — тоже жизнь. Наверное, это моя

зависимость от тех, кому недодал, кого обидел, кем не дорожил, с кем был несправедлив, кто напрасно надеялся на меня. Чувство вины перед ними не покидает во сне и наяву. С таким грузом можно ворочаться с боку на бок, а как ходить и репетировать? Ночь.

Снятся сбор группы. Наташа Крымова что-то с ней обсуждает. Слева Вольдемар Пансо. Он почему-то одет по моде тридцатых годов, но это Пансо. Я позади них, на раскладушке. Наташа кончила говорить и поворачивается ко мне — дескать, что дальше? Актёры ждут. Дальше обрыв над Днепром. Неудержимо тянет вниз, а на руках маленькая дочь. Кричу. Безобразно кричу на вахтёра. Когда я приезжал в театр, он в мороз, без шапки, выбегал открывать ворота. Просил его не делать этого, но он был неумолим — считал долгом. За что же так кричать на него? За что? От стыда хочется сбежать куда глаза глядят. Бегу. Спотыкаюсь, бегу и падаю, подстреленный, на песок у кромки моря. Это сразила меня, своего «сорок первого», женщина из фильма моей юности. Если бы она понимала, что творит. Но она из другого мира, и я прощаю её. Только жужжит, нестерпимо жужжит в голове. Не могу я, не могу выбраться из машины, хоть убейте! Кино, сон, реальность? Почему так дребезжит мотор? Кто-то стремится помочь, пробиться ко мне сквозь крышу... Когда же прекратится это жужжание?.. Когда?

Открываю глаза. Бреется Соломон Аронович. Светает. Может быть, сегодня будет творог?

Август восемьдесят восьмого

Был яркий, солнечный день. Такие напоследок дарит короткое балтийское лето своим поклонникам за верность и долготерпение. Я раздумывал, как лучше распорядиться им, когда раздался неожиданный телефонный звонок. Говорили от имени Яниса Петерса, тогдашнего руководителя Союза писателей. У него важное дело ко мне, но приехать в «Яункемери» никак не может и просит срочно принять посланника.

Вскоре приехал Герберт Дубин, искусствовед из Академии художеств, битый-перебитый во всех известных кампаниях против формализма, космополитизма, абстракционизма. У него всегда был неунывающий вид, как у человека, которому постоянно

плохо. Но на сей раз он источал загадочность. Таинственно позвал пройтись и, бродя среди сосен, передал мне предложение войти в инициативную группу по созданию Народного фронта, участвовать в обсуждении манифеста и подписать его. Ответ надо дать немедленно.

Дубин уговаривал согласиться. «Понимаете, включение вас в эту группу — это большая честь и возможность делать добрые дела... К тому же это может способствовать борьбе с антисемитизмом». Последнее насторожило. Как и то, что для разговора со мной прислали еврея. Впрочем, не исключено, он сам вызвался.

Так или иначе, отдыху конец. Прощайте, дюны и маслята. Надо отвечать.

Я неисправимый индивидуалист. Необходимость говорить «да», поднимать руку «за», пренебречь собственным мнением в групповых интересах не по мне, но... Одно дело не дать связать себя с партией произвола, другое — с движением за обретение латышами прав, которых они были насильно лишены. С коммунистами было просто — срабатывало чувство брезгливости — никогда! ни за что! Даже если отберут театр. Ныне же...

Логика моей жизни (если она была в ней), суть того, что десятилетиями отстаивал наш театр, подталкивали присоединиться. Инстинкт сохранения себя — отказаться.

Собрался в город. Позвонил Роману Тименчику, помощнику по литературной части, попросил прийти. С ним, умницей и эрудитом, стоило посоветоваться перед принятием решения, которое могло иметь самые неожиданные последствия.

Отказываясь подписать воззвание, я рисковал поневоле очутиться среди тех, кого бесило желание латышей обрести свободу. Не используют ли они это в свою пользу? Не стоит задумываться — это чушь из арсенала совчиновников: «А вы подумали, кем и как это может быть использовано?» Одному из них я ответил: «Зачем? Просто буду вести себя честно». Он снисходительно заметил: «Честность бывает разная». Им нравилось так считать.

Если честно, мне близки были устремления латышей, их боль понятна. И я готов был, как это случалось до сих пор, делиться с ними все горести и радости. Думаю, они не сомневались в этом, иначе не обратились бы ко мне. Со многими инициаторами обращения меня связывали не только личные симпатии, а и годы пусть

тихого, но упорного сопротивления режиму, презирающему как людей, так и нации.

Но что это? Среди новых борцов за справедливость старые партийные функционеры, поэты, прославлявшие вождей, гэбисты, художники-холуи, чьи картины тешили высокое начальство. Соображения политической целесообразности — мол, сейчас они работают на прогресс — вызывали тошноту. Тактика?! Пусть так, но я тут при чём? Это слово терпеть не могу с тех пор, как сообразил, что таится за фразой «тактика и стратегия революции». Слово не виновато, но с юности оно стало синонимом обмана и двуличия.

Точнее арифметики

Пришёл Тименчик. Никогда прежде не видел его столь взволнованным. Когда арестовали его друга и Роман принёс, чтобы спрятать у меня, переписку, он был несравненно спокойнее. Рома сразу уловил в надвигающихся событиях предвестие самых разных перемен. Помнит ли сегодня профессор Иерусалимского университета подробности того августовского вечера? Тогда он затыкнулся «беломориной» и после паузы вымолвил — «отказываться».

В общем-то, было ясно — вступать в эту игру нельзя. Не моя она. Но хотелось ещё раз всё обдумать, чтобы в последнюю минуту довериться тому, что точнее арифметики.

Точнее арифметики?.. Вот набираешь студентов, и к третьему туру остаётся несколько человек на одно место. Нелепо подсчитывать достоинства и недостатки каждого. У этого голос лучше, тот пластичнее, этот удался ростом, у того руки выразительнее. Когда достоинства и недостатки каждого уравнивают друг друга, задаёшь себе простой вопрос: кто из них может стать актёром твоего театра? С кем вместе хотелось бы проводить часы, дни, годы? И всё ясно. Решение подсказывает чувство эстетической близости, что ли.

Вряд ли я думал об этом в тот вечер, но опасность оказаться в чуждой компании страшила. Не по себе было, вновь звучал требовательный окрик: с кем вы, мастера культуры? Ответ мог быть один — с культурой.